

НИКОЛАЙ ГРЕБНЕВ

БУКЕТ МАСТЕРУ

За радугой

Белая – слобода, почти без границы с Малосолдатским – селом, действительно небольшим, зато рядом с железнодорожным переездом. Если на север, то можно добраться аж до Комаричей и купить на тамошнем базаре поросёнка на откорм. Если в обратную сторону, то, тоже никого не расспрашивая, – до Харькова, где продают хорошие велосипеды.

Санная же моя дорога наезжена так, что Бересту хорошо знакома, и, кажется, не нужны в упряжи даже вожжи, а уж тем более кнут. Ещё километра два-три, и – деревянный мостик через неведомую ни названием, ни началом речку Илёк. За ним – Вишнёво. Оно на полпути из райцентра до Озёрок. Крайняя улица села приютилась под горою. Потом, минуя колхозную ферму, надо ехать по открытому полю без особых примет до самого шляха. Там дорога уже столбовая – в метель не заблудишься. Налево – на Кондратовку, а прямо меж холмов, будто в ладонях, взору и всем ветрам враз открываются родные Озерки.

... Берест шёл торопко, несмотря на свежую заметь по колеям. Мне и самому надо было разогреться, но теперь уж чуть погодя, на полевой, озерковской дороге. Пробежаться и тут, по Вишнёво, держась за околыши на спинке саней, не в тягость, но всё ещё не хотелось сбрасывать отцовский дорожный тулуп. Овчина, хоть и потёртая до плешин, но всё ещё пригожая, на этот раз оберегала от непогоды не только меня, но и драгоценный груз – свежие, с пылу с жару булочки с райцентровской пекарни для школьного буфета и книги из раймага “Культтовары”, как было предписано, “для распространения”.

Что касается полагавшейся мне булочки, то половинку съел сразу, ещё до подорожной упаковки. Другая половинка – Бересту. Ему-то уж точно это моё угощение – что маковое зёрнышко, особенно после соломы, даже самой лучшей – овсяной. Ещё утром по дороге из дому надёргал я её железным крюком из скирда, что по-над краем поля. Оберемок, после отобедавшего соломой Береста, я раскудлатил так, что уселся в “kozyрях”, как в кресле. Можно, наконец, заглянуть в новые книжки, те, что вёз. В одной из упаковок – “Радуга”, с обложкой более чем привлекательной: на лесной опушке две берёзки словно провожали путников на телеге с резвым, судя по лошадке, выездом на столбовую дорогу, а в довершение над всей этой живописной картиной воссияла радуга! Вдруг, сам не знаю отчего, показалось, что большая берёза в скромном ситцевом наряде – это мама, а рядышком в косичках тоненькое деревце, но с того же корня – моя сестричка, первоклашка Тамара.

Именно они меня, правда, не к радуге, а с оглядкой на крепкий мороз про-вожали сегодня из дому с напутствием:

— Кутайся в тулуп, если что, пробежись — разогрейся! Кашне отцовское где? Не взял? Ну-ка, дочка, мигом принеси, с вешалки...

Не собирался я читать в санках, но так уж выходило, лучшего не придумать: ноги — под тулупом, и руки в тепле — рукав к рукаву. Едва расположил перед собой книжку, как тут же, к моему утешению, нашёлся ещё один читатель: страницы листал ветерок!

Книжка называлась по первому из рассказов. Писатель Е. Носов по случаю оказался, как он пишет, “в поэтических верховьях речки Тускарь, где некогда вдохновенно творил Фет, а сейчас живёт мой приятель Евсейка. <...> Ходит он в школу, которая размещается в бывшей барской усадьбе”.

Евсейка с писателем невзначай познакомился на железнодорожной станции и взял его в попутчики. Парнишка был возницей, как и я, но с тою разницей, что управлял лошадей на телеге и кормил свою Пегашку не соломой, а клевером.

Я с интересом вчитывался в написанное ещё и потому, что стал завидовать Евсейке, его везению: встретил живого писателя и, понятно, стал расхваливаться, какая в здешних местах благодать: и лес, и речка. А ягод сколько в покос...

Надо было и тому случиться: несмотря на середину октября, перед ними вдруг “нарисовалась” необыкновенная радуга... Она всё вокруг разукрасила, от чего путники пришли в восторг! Евсейка вместо того, чтоб остановиться да не спеша этой красоте порадоваться, ни с того ни с сего затеялся гнаться за радугой. Писатель тоже было увлёкся погоней, но вовремя попридержал Евсейку, что дело, мол, бесполезное. Тот всё равно не поверил...

“А тут, — сокрушался я, — может, кто и надумает путешествовать, но даже за целую тысячу лет дело не дойдёт до поездки настоящего писателя. Хотя места наши поинтереснее тех же Евсейкиных!”

В пору, начиная с бабьего лета и до середины осени, если остановиться на макушке хотя бы Красного поля, то ничем не хуже даже без радуги: край земли уходил к дальним холмам, к горизонту. А в долине — хоть картину пиши: россыпь сёла с церквями, изумрудные луга и багряные дубравы, там, где ещё не паханы золотые поля и под стать им берёзовые рощи... Железнодорожная станция клубится паром, то и дело вспыхивающим на привокзалье, и можно, наконец, увидеть, как паровоз вместе с вагонами, окутанный белым шлейфом, прибавляя скорость, устремляется в дали, для нас не ведомые. Хорошо угадывается ракизовыми берегами красавец Псёл. С затонами и плёсами реке раздольно, особенно после неприступного правобережья, где, по преданиям, мужественно сражался с неисчислимой ордой наш древнеславянский город Римов.

...Мороз крепчал, и я захлопнул книжку. Тут же лёгкий ветерок превратился в сердитый ветер и стал колотиться в щёки крупной-сечкой. По этой-то причине и не почувствовал, не предостерегся от беды, что со мной в тот час приключилась...

— Н-но, пошёл!..

Конь отозвался резвостью. Снежные комья из-под копыт постукивали в высокий передок, так что их можно было не остерегаться. Захотелось поудобнее прилечь и малость вздремнуть. Тем и хороши были эти сани-козыри, обкованные железом, крашенные в зелёный цвет, с инвентарными цифрами на спинке. Однако, в отличие от обычных колхозных саней-розвальней, они были мало пригоди для других забот моих — школьного конюха, по совместительству ещё и курьера, и завхоза. Доверяя мне всякие “взрослые” заботы, даже на огороде пахать ровные борозды под картошку, отец говорил при этом: “Что бы без тебя делал!” Тем я немало гордился!

Совсем недавно моей обязанностью было, с ведома лесника, привезти из Лубенца новогоднюю ёлку, подходящую для самого просторного нашего класса. Я знал, что нарядные, будто сельские молодайки на выданье, в роскошных хвойных сарафанах, росли они на виду — по краю, где сходятся лес и поле. Пришлось усаживать лесную барышню в “козыри” рядом с собой. Меня при этом почти не было видно, так что картинка для всякого встречного была на забаву...

– Тпр-р-у-у! Стой! – вдруг прервал мои размышления недовольный голос. – В сугроб загнал, не видишь, что ль?! Чи задремал?..

Берест подчинился команде. У обочины напротив увидел я женщину. В рукавичках-самовязках, слегка опиралась на посошок. Одета в фуфайку с домотканым цветистым поясочком. Широколицая, быть может, так казалось из-за того, что укутана была до самых бровей шалью. Видимо, с оглядкой к тому, что я малость растерялся, вдруг смягчилась:

– Хоть я никакая не барыня и не барышня, но раз уж так-то вышло, подвези, что ли...

“Вот и попутчица нашлась!” Но я тут же догадался:

– Вам до фермы?

– А то ж куда, сынок, из села на ночь гляючи? Хлопот хочь отбавляй – отёлы пошли... Телятки – ох, нешто дети малые...

Я переложил поклажу, она уселась по освободившемуся краю.

– А ты – не хохол и не москаль, не пойму поговору... Из Кондратовки аль с Озёрок?.. Ну-ну, озерковский значит. А чией породы, по двору ты чей? Школьный? Какой школьный? – При этом попутчица оглянулась на меня, я не успел даже ответить. – Погодь-ка, парень, ты... что такой?! Щеки у тебя белые – нешто обморозился?

Она было притронулась к моему лицу, но я и сам уже чувствовал, как кожа на щеках задеревенела, будто не своя.

– Вот-те раз, ну-кось, сворачивай до фермы, да поживее! Давай-ка вожжи, а сам пока растирайся снегом!..

Берест почувствовал крепкую руку и перешёл на галоп.

Не успел я оглянуться, как оказался в красном уголке, сплошь завешанном плакатами и вымпелами, но главное, с топкой – в котле грели воду.

– Девчата! Гостюшка привела, встречайте! “Школьный” ещё, но ведь поглядеть – уже мужик! Ай, чем вам не жених! Только вот румяна навести надо!

Попутчица моя, как оказалось, тётъ Таня – так её звали молодые телятницы – распорядилась вмиг, будто каждый день этим только и занималась:

– Ты, Манечка, растирай-ка щеки. Фрось, не стой – разуй малого, снями валенки – ноги проверь. Алёна, смотайся к скотникам, пусть Гришка как хочет, но сей день говеет, а самогончик нехай отдаст и на растирочку, и нутро разогреть – с полстаканчика надо...

Чуть погода я стал уже сопротивляться:

– Я сам! Спасибо, уже отогрелся... Нет, самогон не пью!

– Ишь, и вправду ожил! Гляди-ка, румяный какой! И куда ж ты теперь заторопился? Может, заночуешь, тут тепло... Дома ждут? Ну, гляди, как лучше... Девчата! – снова позвала тётъ Таня. – Может, у кого лишний платочек есть, обвязать парня – нельзя ему теперича нараспашку.

– Нет, платочек не нужен, в саях кашне есть.

– Кашне?... Хм! Так это ещё лучше! Гляди-ка – длинное, вязаное! И что ж сразу-то не укрылся?!

Провожала меня уже вся ферма. Обмотанный так, что видны были только глаза, – выглядел я, конечно же, смешно, но на лицах читалось иное, да и в приговорках – тоже: “Всё, слава Богу! Теперь уж мороз не возьмёт. Знамо дело, озерчане – ребята крепкие!”

Смущённый всеобщим вниманием, бормотал я слова благодарности, и тут меня осенило: взял из санок распакованную пачку с “Радугой” и раздал её. Книжка досталась каждому!

Также хотел было распорядиться и с булочками, но вишнёвцы меня остановили:

– Нет уж, парень, вези, как вёз. А вот за книжки спасибо! “Радуга” на радость будет в каждой нашей хате... Гриша, – снова распорядилась тётъ Таня, – проводи гостя до дороги...

Григорий взял вожжи, прихлопнул ими коня по бокам и, как всякий, кто имел дело с лошадьми, привычно причмокнул – издал звук-команду, которую не обозначить ни словом в разговоре, ни буквой на письме, но понятную любой лошади.

– Пока тебя наши девки отогревали – коня подкормил – ухоженный, гляжу... Ты, что ли, конюх-то?

— Это у нас в роду. Ещё до войны мой дед Тимоня извозчиком был, всякие грузы возил в Коммунар со станции на завод, с Соснового бора. И сам я коммунаровский — там родился, — расхваливался я. — Так вот — однажды на деда напала волчья стая...

— Ну, знаешь... нынче волков не слышно, зато кабаны развелись, да лисы по скирдам шастают. Тут, парень, другого бояться надо: любой зверь коня спугнёт — не догонишь. И что! В поле в такую вот метель да мороз спастись где? Только в скирде! Крюк в наличии есть? Вот и хорошо! Солома-то понятно, а спички есть?... На ещё коробок, может нужда случиться. Вот “чвёрочка” на всякий пожарный... Не брезгуй, что не магазинное, другого нету! — Григорий, несмотря на мои протесты, сунул дорожный гостинец в соломенный ворошок и договорил сердито: — Голова садовая — это для другоряду — первачок, горит — керосину не надо!

На повороте он передал мне в руки вожжи:

— Не выпускай до самого дому. И ещё один приказ тебе: из саней не вылезать!.. Ну, бывай! Не знаю, крещён ли ты, но на всякий случай: святого Николу тебе в дорогу... Стой, погодь-ка, зануздаю коня!

Берест хрумкнул удилами, а Григорий дал команду на звук — “трогай!”

Темнело быстро, к тому же метель наезженных следов не оставила, и чтоб не сбивать коня с пути, не выпуская из рук, ослабил я вожжи.

Дома меня заждались, и потому сперва были рады все! Едва я успел рассказать кое-какие подробности, как обнаружилось, что книг не хватает, причём целой пачки. И откуда-то сюрприз в соломе — четвертушка! И самой соломы — жменя! “Что наш сын, Евдокия Тимоновна, теперь — алкоголик и книжки на самогон меняет! Ишь, нашёлся... распространитель! А деньги теперь... со своего кармана?”

...И это отец ещё не видел мои щеки — проступившая после усердных растирок кровь запеклась, и мама, перевязывая меня платочком, успокаивала: “Пойми, отец испереживался, ты хоть и сын, но он как директор школы не имел права отправлять тебя в такую дорогу, понадеялся, мол — парень проверенный и крепкий... Места себе не находил и всё говорил: “Ничего с ним не может случиться!” Видишь, как в тебя верил! Ну, а что книжки раздал бесплатно — что теперь... не в деньгах счастье!”

Она то и дело поправляла повязку. Я не противился прикосновению маминых ловких рук и ласковых слов: “Вот и дождались, вырос — старшой, первый наш — помощничек!”

— Не переживай, — всё успокаивала она меня, — никаких шрамов, следов не будет. До свадьбы заживёт!

— Понял?! Не переживай, заживёт! — вторила следом сестричка Тамара. — Mam, — вдруг спросила она, — а когда свадьба?

Я нахмурился, а мама ухмыльнулась и весело сообщила:

— Как только заживёт, так сразу!

Отогревая меня чаем с мёдом, она как бы невзначай спросила:

— Всё, гроза кончилась — тучи, как видишь, прошли, — теперь-то уж не упрямяся, расскажи: самогон... откуда и зачем?!

— Вишнёвцы дали, на всякий случай... для разжожки: горит — керосину не надо!

— Ну что ж, теперь понятно. А как это ты обморозился? Ты ж не барышня, а мужик! Вы ж детвора, когда на лыжах с горок катаетесь — любая стужа нипочём?! Мало того, ещё и снегом закаляешься...

— Да... понимаешь, мам, на ветру засиделся, книжку читал...

Мама сперва ничегошеньки не поняла — переспрашивать не стала. “Ты не бредишь ли? — она потрогала мой лоб: — Не горячий!” Однако вспомнила вдруг почти забытую историю, как, увлёкшись книжкой со сказками, не устерёг я, свинопас, проказницу хрюшку — Машку. И обошёлся “Аленький цветочек” невосполнимыми потерями на огороде у соседки чуть наискосок — бабы Насти... Утрату возмещали что своим урожаем, но в большей части деньгами, к её негданной радости: “Дома безвылазно, а будто на базаре побыва”.

Отец, однако, тогда не ругался вовсе и сказал слова не совсем понятные, но памятные: “Известное дело — перо сохи не легче! По всему видать, это не

про нашего пастушка!..” Потом мама мне растолковала: поговорка старинная, той поры, когда писали гусиными перьями.

Сестричка всё ходила за мной следом, шыгала носом, тёрла кулачком глаза, после успокоилась и, улучив момент, сунула мне в руки половинку булочки и участливо спросила: “Ты, наверно, есть хочешь? Это тебе, я уже наелась!”

Отказываться я не стал. Утром я накладывал корм Бересту и угостил его бесценным лакомством: “Это тебе от зайчика, а может, от лисички, от которой мы вчера так убежали — даже без соломы приехали...” Берест, будто не соглашаясь с тем, что я говорил, слегка всхрипнул, затрепыхался чёлкой. Я успокоил его — расправил гриву, похлопал по шее, приговаривая: “Какой ты у меня молодец, и что бы я без тебя делал?!”

Отец, как и прежде, доверял мне в свободное время всякие курьерские и экспедиторские заботы. Однажды произошло невероятное — в очередной раз, получая книжки “для распространения”, на одной из них увидел знакомое имя “Е. Носов”, а сама книжка называлась “На рыбацкой тропе”. На обложке — берег пруда либо речки и рыболов, явно городской — в шляпе. Удочки на картинке — фабричные из бамбука, а мы удилица вырезали из орешника. Однако на рыбацких тропах, известно, мы все — ровня в самом отрадном своём увлечении. Знать, дока этот Носов в наших рыбацких делах, коль написал целую книжку!

...И сказались эти совпадения на всём том, что потом сбылось — не миновалось.

Даже за год жизнь круто изменилась. Берест был определён для местных поездов. По дальним — его обязанности были на “Запорожце”. И маршрут стал другим — по шляху. Полевая дорога через Вишнёво хоть и покороче, но “стратегическое” значение утратила.

Потому так и не довелось заехать к тётке Тане с маминими гостинцами, которые она любила дарить — шторочками, расписанными разноцветными нитками. Надо же, как мне с нею тогда повезло. Не случись она — Берест, конечно, привёз бы меня домой, но?..

Григорий — бывалый человек! Чего стоит хотя бы одна его подсказка не вылезать из саней без нужды. Прежде Берест — и то было всякий раз днём — сам сворачивал до скирда, а на этот раз, похрапывая, пошёл мимо рысью, аж до самого шляха. Я уже было приготовил спички и пучок соломы, то, чего не оказалось у деда Тимони тогда, при встрече с лютым зверьём, но вспомнил “приказ” и вместо этой затеи взял покрепче в руки вожжи...

Не знал тогда, куда деться от озорных весёлых девчат-телятниц. Кто именно, не уловил, но, кажется, та из них, у которой глаза зелёные и нос в конопушках, когда укутывала меня в кашне, на ушко шепнула: “Ещё приедешь?..” Два слова! Щёки мои словно обожгло — так много этим было сказано! Тут же отозвалось моё сердце, защемило первой, неведомой прежде радостью. К моей неизбывной юношеской мечте стать если не моряком, то писателем всё крепче потом прибавлялось желание приехать сюда однажды, но уже со своей книжкой...

И по сей день не угасли эти неизъяснимые устремления к удивительному семицветию жизни в попытках “догнать радугу”! Что и говорить, заманчиво всё вокруг познать и постичь пониманием и ясностью, обрести крепость и силу неодолимую, возжелать славного подвига, свершений задуманного, при этом уметь предостеречься от нежданной случайности, не сбиться с пути в непогоду, в ненастья житейские!

Судьба-сводница сблизила меня с Евгением Ивановичем Носовым, непревзойдённым певцом величия малой родины. Случались, и нередко, большие литературные сборы и творческие беседы в комфортной тиши кабинетов, приветственные речи с фужером красного и тропы рыбацки либо дороги, где я — уже за рулём бывалый водитель, но с обязанностями теми же — “Евсейки”...

Были ещё и особенные минуты, когда он писал мне рекомендацию в Союз писателей! И всякий раз при этом вспоминались неизменно самые первые его книжки, которые, как талисман судьбы своей, берегу по сей день!

Последний автограф

Крайний подъезд, пятый этаж, дверь прямо перед лифтом...

Впустил меня Ромка, рослый, крепкий, как и дед, и, как все у Носовых, приветлив:

— У себя, ждёт. Проходите.

Евгений Иванович жестом показал, где надлежит сесть, а сам с усердием орудовал в это время бритвой-жужжалкой. Делал он это торопливо, в не свойственной ему манере, а потому неожиданной для меня. Невольно вспомнился эпизод из завсегдашнего новогоднего фильма “С лёгким паром”, где Мягков старательно “драил” щёки электробритвой-подарком. Я усмехнулся, на что Евгений Иванович среагировал тут же: выдернул шнур из розетки и отложил бритву в сторону.

— Ну что ж, буду сидеть в профиль, бритой стороной к тебе... Коли так быстро явился, значит, торопишься. Либо звонил по мобильнику уже из подъезда?

Евгений Иванович шагнул, пожал руку. Его ладонь — на редкость удобная, крепкая, широкая. Много без слов может сказать этот обмен приветствиями. Я почувствовал добросердечие, и сам пожатием его руки интуитивно, конечно же, передал своё искреннее уважение, глубокую привязанность...

— Глаза весёлые. Чем порадуешь?

— Был в Москве, на Комсомольском, у Пегаса, в нашем Союзе. Невзначай попал “на чай”. Михалков рассказывал, как по заказу Сталина писал гимн. Все, кто был в этом кругу, узнав, что я из Курска, живо интересовались: как вы? Ганичев обещал заехать по пути в Белгород.

— Что ж, приму. Гостиам всегда рад... Видишь ли, какое дело, — после этой привычной фразы из носовского лексикона, выдержанной паузами, надлежало слушать. Я знал, что затем последует нечто, требующее внимания собеседника.

И я внимаю, будто прилежный ученик строгому и мудрому учителю.

— Тебе, понимаю, смешно на меня недобритого смотреть, хотя недельная щетина нынче в моде. Отчего я неухожен, зарос? Ты думаешь, дел невпроворот или обленился? Гостей давно нет! То, что я в гости не хожу, — полбеды. Беда, если гости не идут!

И тут Евгений Иванович сказал, судя по всему, то, что накипело:

— Что вы там все, сговорились, что ли?

Меня эта фраза насторожила.

Действительно, среди нас, курских писателей, в последнее время на общение с Носовым существовало табу. Мало кому было позволено “домогаться” встреч с Евгением Ивановичем без особых оснований. Осторожничали даже “самые ближние” — М. Еськов, Ю. Першин, А. Шитиков... Наш литературный “начштаба” В. Детков предупреждал: “...И никаких чарок. Просьба не злоупотреблять гостеприимством Евгения Ивановича!”

Наши с ним отношения складывались особняком. Но в носовских “капустниках” я участвовал. Заканчивались они проводами гостей. Вместе с Носовым провожал их и я на правах того, что жили мы в одном доме, только в разных подъездах. Евгений Иванович всякий раз удерживал меня от попыток уйти со всеми, и мы возвращались “в трапезную”.

— Евгений Иванович, — жалобно спрашивался я, — завтра планёрка в десять, потом совещание...

— Это всё шелуха, Коля, — говорил он в ответ. — Вот пройдёт время. Про свои заседания забудешь напрочь, а наши беседы “при ясной луне” в памяти останутся. Или сомневаешься?

Раздвоенные чувства угасали в пользу сделанного выбора с первых минут наших сокровенных бесед. Перед тем Евгений Иванович снимал стопку книг с одной из полок и добывал из тайничка неприкосновенный запас домашнего вина.

Не дай бог было мне признаться нашему литературному начальству об этих “всенощных посиделках”...

Евгений Иванович доверял мне, как бывалому виночерпию, церемониал разлива пахучего домашнего вина. При этом, памятуя “детковский” запрет, я “налегал” на свою чарку и ждал носовскую присказку:

— Раз уж сошлись мы, нашли с чем, то и найдём, о чём поговорить!

...И теперь вот открытым текстом — упрёк: “Сговорились, что ли?”

Носову нужны были собеседники, необходимо было высказаться, обозначить мысль, идею. Он нуждался в общении, и особенно в закатную свою пору, которую осознал, чувствовал как неизбежность, но не хотел принимать её, как всякий земной человек.

Евгений Иванович непросто соглашался на “внешние” встречи. И потому моё предложение выйти на люди, показаться в публичном месте не было воспринято.

— Ты говоришь — вручить журналистам премии Кости Воробьёва? Конечно, само по себе это благородно. Но я для таких дел мало пригож.

— Евгений Иванович, — настаивал я, — люди хотят поглядеть на вас, сфотографироваться на память.

— Понимаешь, это признаки нехорошие. Я ж не мумия! Что значит на меня поглядеть? Они что, в этом могут вскоре быть ограничены и надо бы поторопиться сфотографироваться? Да и люди сейчас мало читают. Ненароком про Незнайку начнут спрашивать. Нет уж, уволь, не собираюсь пока что я ни туда, ни сюда, — Евгений Иванович при этом жестикулировал вверх и вниз большим и указательным пальцами. — Как только начинают фотографировать — всё, готовься! Дела не сделаешь. Помнишь, как ты сразу за двумя зайцами гонялся? Вспомни, как мы с тобой к Ване Зиборову под Курчатова рыбачить ездили? Ни “кина”, ни рыбы...

На ту последнюю нашу рыбалку надоумил Детков.

— Сделай доброе дело, — просил он, — свози Евгения Ивановича порыбачить. Зиборов на рыбхозовский пруд приглашает. Только проследи, чтобы ни грамма... Сам знаешь!

И вот мы в пути. Я за рулём “Волги”. Евгений Иванович, в хорошем расположении духа и слегка возбуждённый, рассказывал, как готовился к этой рыбалке. У меня был свой интерес. Рыбалка — сама по себе уже радость. Но я вёз ещё и видеокамеру. В моём видеофонде ничего не было о рыбалке с Носовым. А так хотелось заснять киношный вариант. И вот об этом я сказал своему спутнику.

— Вот какое дело, Коля! Давай так решим: либо рыбалка, либо съёмки. Если совмещать — ни то, ни другое не получится.

Я молча крутил баранку, боялся усугубить ситуацию неосторожным словом. А мой спутник ворчливо добавил:

— Съёмки ни к чему — их у нас предостаточно! Ты мне предложил что — рыбалку?!

— Хорошо, — поторопился я с ответом, — конечно же, едем рыбачить!

Сознаться, я не верил в рыбацкие приметы. А уж в этот раз полагал я, мы никак не рискуем. Порыбачить всласть, вдоволь не где-нибудь, а на рыбхозовском пруду?! Рыбаки бывалые, снасть проверенная. Тем более что обустроивал процесс ужения в пруду, где рыбы было больше, чем воды, сам Зиборов — стародавний приятель Евгения Ивановича. Иван Федотович — рыбоев знатный, а не только поэт и прозаик. Иван столь же талантлив в литературном письме, сколь прост, искренен и честен в общении с кем бы то ни было.

Евгений Иванович признавал Зиבורова особняком, дружил с ним давно. Всякая встреча, особенно на природе, доставляла им очевидное удовольствие.

Иван Федотович на радостях взял “на грудь”, кроме своей доли, и мои “рулевые”, и “запретные” Евгения Ивановича.

По этой причине рыбачить ему расхотелось, и сразу после завтрака Федотыч разместился на отдых под сенью берёз на ласковой шёлковой травке.

Евгений Иванович разворачивал снасть, забрасывал удочки. Я, сославшись на неодолимую страсть к видеосъёмкам, якобы отправился вдоль по берегу, а сам спрятавшись неподалёку в раkitнике. Солнце уже подогрело и растворило молочный туман над озером. Нашему взору открылась живописная панорама: в голубую озёрную гладь заглядывали, словно любясь собой, прибрежные берёзы.

Единственное, что нарушало утреннюю тишину, это беспрестанные всплески: разнокалиберные карпы выпрыгивали из воды и булыжниками плюхались о поверхность, да так часто, что из лёгких волн, смыкавшихся меж собой, выстилалось по озеру водяное кружево.

Надо ли говорить, как эта картина дразнила моё воображение. Я сидел в укрытии наизготове, настроив камеру на дальномер, всё ждал, но напрасно... Рыбхозовский карп, как боров, был хлебно сыт, и никакая приманка аппетита у него не вызывала.

— Ваня, — просит Носов, — сходи-ка посмотри, где Коля, небось в кустах с камерой сидит. Слугни его, а то клёва совсем нет.

Иван Федотович с видимым усилием одолел путь от привады к укромному месту, где я затаился, и уставился на неожиданно высунувшийся навстречу из веток мой кулак.

— Федотыч, молчи, — шипел я, — иди назад. Меня ты не видел. Ну сам пойми, когда ещё повезёт.

— Ваня! — звал Носов. — Ну? Что ты там застрял?

— Так это я... по необходимости. А Николая что-то не видеть.

— Да, ясное дело, не за этим мы сюда ехали, — ворчал Евгений Иванович, сворачивая снасть.

Я был тише воды, ниже травы. Единственным утешением в тот день была наваристая, духмяная уха: рыбхозовцы закинули сеть. Да ещё дали увесистых “поросят”, чтоб было чем похвалиться по возвращении.

Не однажды доводилось рыбачить с Носовым, но такой конфуз!.. Дал я с той поры зарок себе: веришь ли в приметы — твоя забота, но в артельном деле заповеди и правила для всех одинаковы.

Осталась в памяти та рыбалка и у Евгения Ивановича...

— Так что не обессудь, Коля. Вот ты пришёл — и в этом моё утешение.

— Спасибо, Евгений Иванович, на добром слове. — Я встал, боясь злоупотребить гостеприимством. Мы сошлись в рукопожатии. В привычно нужный момент я было ослабил руку, но Евгений Иванович не отпустил меня. И в этой задержке вернее многих слов передались мне его душевное состояние, настроение и немало из того, чего словами не сказать.

— Что-то мы перестали общаться. С тех пор, как ты переехал жить на выселки.

— На Хуторскую, — уточнил я.

— Знаю, что на Хуторскую. Ты ведь предписал как бы, что туда переселишься. Читал, помнится, “Псы и голуби”... Что, сейчас пишешь?

— Пишу...

— Принесёшь почитать, — сказал Евгений Иванович повелительным тоном. — Буду ждать.

Носов “облапил” мою руку своими и усадил на прежнее место на табурет. Я стал рассказывать о живописной панораме поймы Тускари, открывающейся из окон моей девятиэтажки.

— Вся восточная сторона, что от Курска, — как на ладони. Видна церковь в Тазово. Справа — Клюква и Лебяжье... Горизонт от Коренной пустыни аж до Стрелецкой степи. И леса, и поля, и луга заливные по-над Тускарью... Кстати, из окон моих виден огород за хутором Саблиным. И на этом огороде, на межевой бровке, разрослась луговая овсяница, — хвалился я, но собеседник мой будто не слушал мою расхвалу, и я затих.

Пока мы говорили, закатное солнце оглаживало своими лучами стены с картинами кисти самого хозяина, полки с его книгами, крепкий старомодный рабочий стол, кушетку возле двери у книжных стеллажей, на полках ручные поделки. Из обилия вещей самого разного назначения — ничего лишнего или ненужного.

Задумчиво, с отсутствующим взглядом Евгений Иванович вернул меня к разговору:

— Из своих окон я тоже всё это наблюдал, только вот город заслонил теперь родинку мою, отцовский погост уже не видно...

— Как заслонил? — переспросил я, не понимая, о чём идёт речь.

— Дома на Лысой горе выстроили — загородили Толмачёво. Вроде взору помеха, и только, но будто лишился я дорогого в жизни.

Вольно и невольно я вознамерился отвлечь Евгения Ивановича от невесёлых мыслей, не хотелось расставаться на грустной ноте. Имея поручение от наших писателей приветствовать в связи с 80-летием музыкальное училище имени Свиридова, уже спешил на торжественный вечер. Сказав об этом, испросил разрешения на поздравление от его имени.

– Отчего же, люди уважаемые. Передай от меня привет, наверное, кстати будет и письменный, а?

Евгений Иванович потянулся к полке над кушеткой, достал “Книгу о Мастере”. Я приготовил ему авторучку, и он написал короткое поздравление юбиляру.

И тут у меня возникла мысль использовать этот случай и восполнить недавнюю утрату. Будто провинившийся школьник, я стал было путано и сбивчиво рассказывать, что “Книгу...” с его автографом, которую он подарил мне в свой день рождения, кто-то прибрал к рукам, и вот я теперь остался без именного подарка.

– Это, конечно, утрата, – Евгений Иванович, недослушав, потянулся за второй книгой, – но она вполне поправимая и не такая уж горькая, как ты представил.

Носов вписал имя “страдальца” и затем: “... с верой и надеждой в творческие успехи. Сердечно. Е. Носов”.

– Дарю!

Я взял открытую на титульной странице книгу с автографом и свою ручку, которой он писал, и мы сошлись в третий раз в этот вечер в рукопожатии. Как умел, насколько владел языком жестов, вкладывал я в это приветствие свою сердечную и безграничную признательность настоящему мастеру русского слова.

Всего через несколько дней – 12 июня 2002 года – Евгения Ивановича Носова не стало.

Букет мастеру

Кончина Носова застала врасплох курских, да и столичных писателей, не говоря уж о тех мастерах художественного слова, кто славил свои поместья-провинции, как это делал в высшей степени совершенства Евгений Иванович. Богатейшая в изобразительной манере проза его звучит волнующей, волшебной и загадочной мелодией проникновенного глубинного восприятия природы, жизни, человека. В ней – исконно русское миропонимание, доступное всякому, кто открывал его книги.

Если и вправду знаменитое “Слово о полку Игореве...” писал курянин, то ждать нам в соловьином краю третьего пришествия ещё тысячу лет...

Все, кто знал Евгения Ивановича, столкнулись с печальным событием, как с неожиданным стихийным бедствием, естественным, но преждевременным, несправедливым. Потеря обострялась невозможностью: неповторим был свет, излучаемый звездой российской величины. Но в России ухода Е. И. Носова из жизни почти не заметили. Мало какие из столичных СМИ обмолвились об этой печальной новости.

...Похороны определены были на пятнадцатое июня. Власти заботливо взяли на себя все хлопоты. И все мы, литераторы, как неприкаянные, слонялись из угла в угол, вслух произнося многое из того, чего накануне было нельзя: остерегались навлечь беду. Говорили о памятниках, именных улицах, конкурсах, собраниях сочинений, книгах воспоминаний...

Обострилась необходимость обозначить носовские памятные места, возникла потребность немедленного действия. И мы поехали по ближайшему адресу. Мы – это Борис Агеев, Михаил Еськов и я. Три минуты езды, и вот она, улица Ломоносова, дом номер тридцать пять. Еськов хорошо знал этот адрес, где долгие годы жили Носовы.

Буйно, неухоженно произрастал во дворе и за домом сад. Дом, как все, но по-своему приметный. Давно не белён и не крашен, хотя ещё крепкий. Есть пока надежда: послужит он много лет. Дай-то Бог!

Но ремонт нужен безотлагательно.

– Вот она, та самая форточка... – пояснял Михаил Николаевич. – Помните носовские “Тридцать зёрен”?

Мы заговорили о том, что можно было бы всё это сберечь, сохранить, не поздно ещё. Дойдёт ведь черёд до дома-музея!..

А я подивился: случайно или нет, переезжая, выбирали Носовы эту улицу. Может, сыграло роль коренное совпадение фамилий великого русского учёного и нашего славного земляка, и высказался вслух на этот счёт.

Что стоит сократить первые четыре буквы? Славы Михайлы Ломоносова не убавилось бы, зато совпадение на редкость удачное.

Мою мысль нашли сколь оригинальной, столь же неприемлемой. Так нынче не принято. Да и власти не согласятся. Была бы тут какая-нибудь Луговая или Выгонная — другое дело...

Поездкой на Ломоносовскую моя душа не успокоилась. Мы так устроены большей частью, что после печального исхода сильнее прижизненного произрастает в наших душах, а значит и мыслях, словах и поступках признание достоинств, почитание, уважение к человеку, оставившему этот мир. Я чувствовал в себе эту запоздалую совесть. Хотелось поступка, который бы душевно одобрил Евгений Иванович, хоть малого дела, которое бы легко восприняла его душа.

Вознамерился было я поехать на родину Носова, в Толмачёво, взять горсть земли для могильного холмика, но не знал туда дороги. А ведь до этого сколько раз бывал в окрестных местах...

И уже в день похорон, наконец, нашёл я заботу в утешение души своей и той, его, что, по преданиям, созерцала всё происходящее.

В то печальное июньское утро с дачной ночёвки возвращался я со стороны Щетинки на машине в город с пёстрым букетом садовых цветов. Остановился у края дороги, на лугу, что возле широкой и глубокой излучины Тускари. Эти места лучше всего видны с крутого городского побережья...

Небо было подёрнуто дымкой, словно зеркальной занавесью. Неяркое солнце, будто в светлой печали, не спешило к полудню, к часу прощания. Восточный ветер клонил сенокосные травы в сторону города.

Я извлёк охапку с декоративным разноцветьем из машины и возложил у края луга. Несуразным, ничёмным казалось мне буйство красок в прощальной церемонии с Носовым.

“Этот — реке и лугу, — решил я, — а Евгению Ивановичу нарву-ка букет полевых цветов и трав”.

Наверное, в удивление была эта картина проезжим людям: “Волга” — на распашку на обочине, яркие цветы — на краю луга и одиноко шастающий по траве неясно зачем странник...

Возвышенные чувства на какое-то время овладели мной и были в гармонии с мыслями и словами, звучавшими во мне Его голосом: “Спасибо тебе, Коля, что надумал принести в последний денёчек на земле самую знатную травку мою — луговую овсяницу...”

Я уже набрал внушительный букет цветов и трав: ромашки, колокольчики, донник... Но искал и всё никак не находил радетельницы разнотравья — луговой овсяницы.

“Как же так? — недоумевал я. — Хоть бы малый букетик, хоть былинку. Будто ушла эта неизбывная травушка с луга”.

Станным показалось мне это обстоятельство, но не безвыходным. Совсем рядом, в километре отсюда, за хутором Саблиным, луговая овсяница произрастала на межевой бровке — между картофельными огородами. Эта зелёная граница почти метровой ширины не распахивалась и оберегалась даже от нечаянного плуга шеренгой вишенок.

Сбывалась давняя мечта моя: своими руками восстановить кусочек степи. Мне было интересно, могут ли ужиться меж собой травы, может ли человек произвольно возродить гармонию в удивительном мире разнотравья. Я привозил сюда с разных мест растения, поливал, ухаживал. Однажды случился конфуз: диковинная, как мне казалось, травка в пору цветения произрастала в неисчислимом количестве по всему огороду.

...Как-то привёз экзотический волчегодник Юлии, цветок, который нынче растёт в единственном месте на меловых заповедных холмах в Баркаловке, под Горшечным. Взял грех на душу. Копнул в придорожной окраинке. Даже полведёрка родного грунта прихватил для пересадки. Но, увы, не прижился.

Зато луговая овсяница произрастала вольно и в роскоши, и не было силы ей противостоять...

Сосед поначалу с недоумением, а потом с явным неудовольствием наблюдал за моими экспериментами. Особенно невзлюбил он луговую овсяницу.

— Не дам ладу, — жаловался он, — лютый сорняк, лезет по всему огороду. Спорил я с ним тогда до хрипоты.

— Во-первых, если хочешь знать, это литературный образ нашего раздолья, русской вольницы, растение, освящённое талантом редкостного знатока природы, мастера слова. За эту травку человеку Государственную премию дали, ясно тебе?! Во-вторых, её разводить надо — лучшая молочница. Да и бороться бесполезно: коровы её копытом до земли выбьют, а она ещё лучше растёт. — Я горячился и приводил всё новые аргументы. — Пойми ты, пахарь-ворошила, что ни твоя картошка, ни какой помидор или сельдерей не достоин этой травки. Ты их любишь, а земля — нет!.. От того у нас чернозём такой, что земля отдаётся сорнякам, как ты их называешь, в первую очередь. А твои инфантильные гибриды истощают её безвозвратно, лишают сил!

— Тебя послушать, — хмуро отвечал сосед, — с голоду копыта откинешь. Чего только не выдумает человек в оправдание, лишь бы огород не полоть. Вот дал Бог соседа — сорняки разводит. Сказал бы, мол, помоги, некогда или неохота. Чудак человек, да и только, — досадовал он и уходил прочь.

Что до меня, то я действительно гордился своим чудачеством и надеялся разубедить соседа в его небрежении к матушке-природе. С этими вот раздумьями о наших словесных баталиях и ехал я за букетом луговой овсяницы.

Не знаю, с чем сравнить, какими словами передать состояние, которое пришлось мне вскоре прочувствовать.

Ещё издали подивился, что за рыжая полоса на огороде. Уже подъезжая, догадался: вся межевая бровка уничтожена сухим холодным огнём гербицида. Мёртвая трава безжизненно шелестела метёлочками соцветий.

Я был удивлён, поражён! И не столько злодеянием — нет. В конце концов, соседа можно понять, по-своему он, конечно, прав. Я был поражён стечением обстоятельств последних дней, этим трагическим совпадением.

... Медленно шёл в многолюдной чередке к центру вестибюля в гарнизонном Доме офицеров с букетом луговых трав и цветов, тем самым обращая на себя внимание, и слышал одобрительные отзывы:

— Молодец! Хорошо, что догадался!

Я возложил букет к изголовью Евгения Ивановича. В богатом разноцветье особенность, неброскость моего букета была очевидной, и его скоро убрали. Однако на проводах в траурной процессии посреди устланной цветами дороги я увидел и свой букет. Распластанный веером, он безжизненно приник к дорожной тверди...

Луговой овсяницы в нём не было...

г. Курск